

ДЖОРДЖ
ОРУЭЛЛ



1984
СКОТНЫЙ ДВОР



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Джордж Оруэлл

1984. Скотный двор

«ЭКСМО»

1945, 1949

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Оруэлл Д.

1984. Скотный двор / Д. Оруэлл — «Эксмо», 1945,
1949 — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-04-122320-5

Роман «1984» об опасности тоталитаризма стал одной из самых известных антиутопий XX века, которая стоит в одном ряду с «Мы» Замятина, «О дивный новый мир» Хаксли и «451° по Фаренгейту» Брэдбери. Что будет, если в правящих кругах распространятся идеи фашизма и диктатуры? Каким станет общественный уклад, если власть потребует неуклонного подчинения? К какой катастрофе приведет подобный режим? Повесть-притча «Скотный двор» полна острого сарказма и политической сатиры. Обитатели фермы олицетворяют самые ужасные людские пороки, а сама ферма становится символом тоталитарного общества. Как будут существовать в таком обществе его обитатели – животные, которых поведут на бойню?

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-122320-5

© Оруэлл Д., 1945, 1949

© Эксмо, 1945, 1949

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Почему я пишу | 6 |
| 1984 | 10 |
| Часть первая | 10 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 25 |

Джордж Оруэлл 1984; Скотный двор



George Orwell
1984 ANIMAL FARM



Перевод с английского

- © Шепелев Д.А., перевод на русский язык, 2021
- © Беспалова Л.Г., перевод на русский язык, 2021
- © Таск С.Э., перевод на русский язык, 2021
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Почему я пишу

С очень раннего возраста, лет с пяти-шести, я знал, что стану писателем, когда вырасту. В промежутке между семнадцатью и двадцатью четырьмя я пытался оставить эту идею, отдавая себе, однако, отчет в том, что тем самым я бросаю вызов своей природе и что раньше или позже мне придется уgomониться и писать книги.

Я был вторым ребенком из трех, с разрывом в пять годков с обеих сторон, и до восьми лет отца почти не видел. По этой и другим причинам я чувствовал себя одиноким, и у меня быстро развились дурные манеры, сделавшие меня непопулярным в школе. Как всякий маленький отшельник, я выдумывал истории, вел разговоры с воображаемыми персонажами, и, кажется, с самого начала мои литературные амбиции перепутались с ощущением обособленности и недооцененности. Я легко владел словом, умел смотреть в лицо неприятным фактам и чувствовал, что создаю свой личный мир, где смогу взять реванш за неудачи в обычной жизни. Тем не менее объем серьезных – по намерениям – вещей, написанных мной в период детства и отрочества, не насчитывал и полдюжины страниц. Мое первое стихотворение мама записала с моих слов, когда мне было четыре или пять лет. Деталей не помню, кроме того что оно было посвящено тигру с «зубами как стулья» – неплохо сказано, если бы еще это не было плагиатом блейковского «Тигр, о тигр». В одиннадцать, когда разразилась война 1914 года, я написал патриотическое стихотворение, которое напечатала местная газета, как и другое, двумя годами позже, на смерть Китченера ¹. Став постарше, я периодически писал плохие и, как правило, незаконченные «стихи о природе» в георгианском стиле. Еще я пару раз попробовал себя в жанре короткого рассказа – чудовищный провал. Вот, собственно, итог моей серьезной писанины в те годы.

Но в каком-то смысле я тогда втянулся в литературную деятельность. Были вещи на заказ, я их делал быстро, легко и без особого удовольствия. Помимо школьных заданий, я писал *vers d'occasion* ², полущутливые стихотворения, которые, как мне сейчас кажется, выдавал с поразительной скоростью, – в четырнадцать лет я сочинил за неделю целую пьесу в стихах в подражание Аристофану, – и помогал издавать школьные журналы, как печатные, так и рукописные. Эти журналы являли собой самые жалкие карикатуры, какие только можно себе представить, и я с ними расправлялся с куда большей легкостью, чем нынче с дешевой журналистикой. Но параллельно со всем этим, на протяжении пятнадцати с лишним лет, я занимался литературным упражнением совсем иного рода, создавая непрерывную «историю» о себе, что-то вроде дневника, существующего лишь в моей голове. Я полагаю, нечто подобное происходит со всеми детьми и подростками. Будучи ребенком, я воображал себя, к примеру, Робин Гудом, героем захватывающих приключений, однако довольно скоро мои «истории» резко утратили нарциссизм и становились все больше описанием того, что я делаю и вижу. В голове моей складывалась картина: «Он толкнул дверь и вошел в комнату. Желтый луч света, пробивающийся сквозь муслиновые занавески, прилег на стол, где рядом с чернильницей лежал полуоткрытый спичечный коробок. Держа правую руку в кармане, он подошел к окну. На улице кот со спиной, похожей на черепаховый панцирь, гонялся за мертвым листом» и т. д., и т. п. Эта привычка сохранялась лет до двадцати пяти, пока я всерьез не занялся литературой. Притом что я должен был искать и искал точные слова, похоже, я обращался к описаниям, сам того не желая, под воздействием какого-то внешнего толчка. Подозреваю, что мои «истории» отражали стили писателей, которыми я увлекался в разные годы, но, насколько я помню, их всегда отличала дотошная описательность.

¹ Гораций Герберт Китченер (1850–1916) – британский военный деятель.

² Стихи по случаю (*фр.*).

В шестнадцать я вдруг открыл для себя красоту самих слов, то есть их звучания и ассоциаций. Строчки из «Потерянного рая»:

С трудом, упорно Сатана летел,
Одолевал упорно и с трудом ³,

которые сегодня не кажутся мне такими уж замечательными, тогда вызывали у меня мурашки, а написание «hee» вместо «he» лишь увеличивало восторг. Про то, как надо описывать вещи, я уже все знал. Поэтому понятно, какого сорта книги я хотел писать, если в то время написание книг вообще входило в мои планы. Я намеревался сочинять толстые натуралистические романы с несчастливым концом, с подробнейшими описаниями и ошеломительными сравнениями, с витиеватыми пассажами, где слова отчасти используются ради самого звучания. И кстати, мой первый роман «Бирманские дни», написанный в тридцать лет, но задуманный гораздо раньше, в сущности, является именно такой книгой.

Я даю всю предысторию, так как, мне кажется, невозможно понять мотивы писателя, не имея представления о его развитии на раннем этапе. Тематику определит само время – особенно если речь идет о таком бурном революционном времени, как наше, – но еще до того, как он начнет писать, у него должно сложиться эмоциональное отношение к миру, от которого уже до конца не уйти. Ему, разумеется, предстоит обузывать свой темперамент, и он не должен застрять на какой-то незрелой стадии или в каком-то не том состоянии, но совсем избавиться от ранних влияний – значит убить в себе творческий импульс. Оставляя в стороне необходимость зарабатывания на жизнь, я вижу четыре сильных мотива для писательства, во всяком случае для сочинения прозы. В каждом писателе они существуют в разных пропорциях, которые со временем могут меняться в зависимости от атмосферы, в которой он живет. Вот они:

(1) Чистый эгоизм. Желание выглядеть умным или отомстить взрослым за то, что унижали тебя в детстве, желание, чтобы о тебе говорили и чтобы помнили после смерти, и т. д., и т. д. Было бы лицемерием не считать это мотивом; еще какой мотив. Писатели в этом солидарны с учеными, художниками, политиками, законниками, солдатами, успешными бизнесменами – короче, высший слой человеческой расы. Большая масса людей не отличается повышенным эгоизмом. После тридцати они утрачивают личные амбиции – а частенько и ощущение себя как личностей – и начинают жить главным образом для других, если не задыхаются под гнетом повседневности. Но есть также меньшинство одаренных честолюбцев, твердо решивших прожить свою жизнь до конца, и писатели принадлежат к этой категории. Серьезные писатели, я бы сказал, в целом тщеславнее и эгоцентричнее, чем журналисты, хотя не столь корыстны.

(2) Эстетический энтузиазм. Восприятие красоты в окружающем мире или, наоборот, в словах и их правильной расстановке. Удовольствие от воздействия звука на звук, от упругости хорошей прозы или ритма хорошего рассказа. Желание поделиться ценным опытом, дабы он не пропал даром. Эстетический мотив очень слабо развит у большого числа писателей, но даже памфлетист или автор учебников порой вставляет излюбленное словечко или фразу без утилитарной надобности или питает слабость к типографскому шрифту, ширине полей и т. п. Если взять выше железнодорожного справочника, ни одна книга не вполне свободна от эстетических соображений.

(3) Исторический импульс. Желание увидеть все как есть, раскопать подлинные факты и сохранить для потомства.

(4) Политические цели – употребляя слово «политический» в самом широком смысле. Желание подтолкнуть мир в определенном направлении, изменить взгляды людей на обще-

³ Перевод Аркадия Штейнберга.

ство, за которое они должны бороться. Опять же, никакая книга по-настоящему не свободна от политической ангажированности.

Можно проследить за тем, как эти различные импульсы сталкиваются и как они колеблются в зависимости от конкретного человека и периода времени. По своей природе – понимая «природу» как состояние при вступлении в пору взрослости – я человек, у которого первые три мотива перевешивают четвертый. В мирное время я бы сочинял орнаментальные или просто описательные книжки, даже не догадываясь о своей политической приверженности. А так я был вынужден стать чуть ли не памфлетистом. Пять лет, отданных неподобающей профессии (вест-индская имперская полиция в Бирме), затем бедность и комплекс неудачника. Это усилило мое врожденное неприятие власти и впервые заставило осознать существование рабочего класса, а служба в Бирме открыла мне глаза на природу империализма; однако этого опыта было недостаточно для того, чтобы сформировать внятную политическую ориентацию. Потом был Гитлер, Гражданская война в Испании и проч. Закончился тридцать пятый год, а я все еще не имел твердой позиции. Помню последние три строфы написанного в то время стихика, где выражена тогдашняя дилемма:

Я личинка, не ставшая бабочкой,
Я евнух, лишенный гарема.
Между пастырем и комиссаром
Я мечусь, как второй Юджин Аром ⁴.

Комиссар по руке мне гадает,
Из радио музыка льется,
Ну а пастырь мне «остин» сулит,
Мол, пусть паренек порулит.

Я жил во дворце в своих снах
И во дворце просыпался.
Этот век – для моих ли ты глаз?
А для Смита? Для Джонса? Для вас? ⁵

Война в Испании и другие события 1936–1937 годов перевесили чашу весов, и отныне моя позиция была мне ясна. Каждая серьезная строчка, написанная мной после тридцать шестого, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимаю. Мне кажется глупостью в такое время, как наше, считать, что можно избежать этих тем. Все так или иначе их касаются. Вопрос лишь в том, на чьей ты стороне и как подходишь к теме. И чем осмысленнее твоя политическая позиция, тем выше шансы, что, занимаясь политикой, ты не будешь приносить в жертву свои эстетические и интеллектуальные принципы.

Больше всего в последние десять лет мне хотелось превратить политическое высказывание в искусство. Для меня всегда отправная точка – чувство солидарности и несправедливости. Когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: «Сейчас я создам произведение искусства». Я пишу, потому что хочу разоблачить какую-то ложь или привлечь внимание к какому-то факту, и моя изначальная забота – быть услышанным. Но я не могу написать книгу или хотя бы большую статью в журнал без эстетической задачи. Любой, кто даст себе труд вникнуть в мои сочи-

⁴ Юджин Аром (1704–1759) – английский филолог и учитель, получивший печальную славу убийцы близкого друга, за что и был повешен.

⁵ Стихотворение 1936 года «Я б мог быть счастливым викарием».

нения, увидит, что, даже когда это откровенная пропаганда, там много такого, что профессиональный политик сочтет не относящимся к делу. Я не могу, да и не хочу совсем отказаться от того, как я глядел на мир ребенком. Пока жив и здоров, буду следить за прозаическим стилем, любить все, чем богата земля, и получать удовольствие от добротных предметов и бесполезной информации. Против природы не попрешь. Главное – совместить мои врожденные пристрастия и антипатии с публичными, неиндивидуальными действиями, к которым нас вынуждает само время.

Это непросто. Встают проблемы конструирования и языка, и по-новому встает вопрос правдивости. Позвольте мне дать лишь один пример возникшей неуклюжести. Моя книга «Памяти Каталонии» о гражданской войне в Испании, конечно же, откровенно политическая, но она написана с некоторой отстраненностью и соблюдением формы. Я очень старался рассказать всю правду, при этом не идя против моего литературного инстинкта. В ней, помимо прочего, есть большая глава, изобилующая газетными цитатами и тому подобным и защищающая троцкистов, которых обвиняли в сотрудничестве с Франко. Ясно, что такая глава через год-другой перестанет быть интересной обычному читателю и погубит всю книгу. Критик, чье мнение я уважаю, прочел мне лекцию по этому поводу: «Зачем ты ее включил? Ты превратил потенциально хорошую книгу в журналистский опус». Он был прав, но я не мог поступить иначе. Я располагал информацией, оказавшейся в Англии для многих недоступной: оговоры невинных людей. У меня это вызвало ярость, без которой книга просто не была бы написана.

Проблема в том или ином виде возникает опять и опять. Вопрос языка достаточно тонкий и потребовал бы слишком долгого обсуждения. Скажу лишь, что в последние годы я стараюсь писать не так ярко, построже. Как бы там ни было, по-моему, к тому моменту, когда ты освоил некий стиль письма, можно считать, что он уже устарел. «Скотский уголок»⁶ – первая книга, где я осознанно постарался соединить политическую и художественную задачи в единое целое. После этого я не писал романов семь лет, но вскоре, надеюсь, кое-что получится. Наверняка это будет провал, всякая книга обречена на провал, но по крайней мере я себе ясно представляю, что хочу написать.

Просмотрев последнюю пару страниц, я вижу, что дело выглядит так, будто мои мотивы как писателя направлены исключительно на общественное восприятие. Мне не хотелось бы оставить у вас такое впечатление. Все писатели тщеславны, эгоистичны и ленивы, а в основе всего лежит загадка. Написание книги – ужасная, изнурительная борьба вроде затяжной мучительной болезни. Не стоит за такое браться, если ты не одержим демоном, столь же неотвязным, сколь и непостижимым. Насколько можно судить, демон этот, проще говоря, инстинкт, заставляющий ребенка требовать к себе внимания. Но правда и то, что невозможно написать что-то стоящее, если ты постоянно не пытаешься спрятать подальше свою персону. Хорошая проза – это оконное стекло. Я не могу с уверенностью сказать, какой из моих мотивов сильнее, но знаю, какие из них достойны, чтобы за ними следовать. Оглядываясь на сделанное, я вижу, что, когда у меня не было политической задачи, я неизбежно писал нечто безжизненное, расплываваясь витиеватыми пассажами, пустыми фразами и виньетками, – короче, подлогом.

Джордж Оруэлл
«Гангрел», № 4, лето, 1946

⁶ Под этим названием роман Оруэлла вышел по-русски в издательстве «Книжная палата» в 1989 году. Другие варианты перевода: «Скотный двор», «Звероферма».

1984

Часть первая

I

Был апрельский день, ясный и холодный, и часы отбивали тринадцать. Уинстон Смит вжал подбородок в грудь, пытаясь укрыться от злого ветра, и проскользнул за стеклянные двери жилого комплекса «Победа», впустив за собой завиток зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. На дальней стене висел цветной плакат, непомерно большой для помещения. Плакат изображал огромное лицо, шириной более метра: мужчина лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубовато-привлекательный. Уинстон направился к лестнице. Про лифт нечего было и мечтать. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас в дневное время электричество отключали. Действовал режим экономии в преддверии Недели Ненависти. До квартиры было семь лестничных пролетов, и Уинстон с варикозной язвой над правой лодыжкой в свои тридцать девять лет поднимался медленно, то и дело останавливаясь. На каждом этаже со стены напротив лифта на него пялился тот же плакат. Его специально так разместили, что, где ни стой, глаза усаха все равно будут смотреть на тебя. Надпись внизу гласила: «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ».

В квартире сочный голос зачитывал цифры, как-то связанные с производством чугуна. Звук раздавался справа от входа – из вделанной в стену продолговатой металлической пластины, похожей на помутневшее зеркало. Уинстон повернул на ней ручку, и голос стал тише, хотя слова остались различимы. Звук телеэкрана (так называлось устройство) можно было убавить, но не убрать совсем. Уинстон подошел к окну: невысокая, шуплая фигурка, еще более тщедушная в синем комбинезоне, отличавшем членов Партии. Волосы у него были совсем светлыми, на лице играл природный румянец, а кожа загрубела от хозяйственного мыла, тупых бритвенных лезвий и зимних холодов, только недавно отступивших.

Внешний мир даже сквозь закрытое окно отдавал холодом. Внизу, на улице, маленькие смерчи кружили пыль и бумажный мусор. И хотя светило солнце, а небо отливало резкой синевой, все казалось каким-то бесцветным, кроме повсюду развешанных плакатов. Усач взирав с каждого приметного угла – и с фасада дома прямо напротив. «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ», – гласила надпись, а темные глаза смотрели в лицо Уинстону. Ниже, на уровне улицы, еще один плакат трепетал на ветру оторванным краем, открывая и закрывая единственное слово: «АНГСОЦ». В отдалении скользил между крышами вертолет: завис на миг, точно трупная муха, и взмыл прочь по кривой. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули – ерунда. Не то что Мыслеполия.

За спиной Уинстона голос с телеэкрана продолжал бубнить о чугуне и перевыполнении Девятой Трехлетки. Телеэкран одновременно передавал и принимал информацию. Он улавливал любой звук громче тихого шепота, который издавал Уинстон. Более того, пока тот находился в поле зрения металлической пластины, его могли не только слышать, но и видеть. Конечно, никогда нельзя было сказать с уверенностью, следят за тобой в данный момент или нет. Никто не знал, как часто или по какой системе Мыслеполия подключается к его каналу. Разумнее было считать, что следят за всеми и всегда. Так или иначе, к твоему телеэкрану могли подключиться в любой момент. Приходилось так жить – и ты жил, свываясь на уровне

инстинкта с ощущением, что каждый звук в твоей квартире слышат, а движение – видят, особенно при свете.

Уинстон стоял спиной к телеэкрану. Так было на-дежнее, хотя он хорошо знал, что даже спина выдает человека. В километре от дома над обшарпанными зданиями высилась белая громада Министерства правды, место его работы. «Вот он, Лондон, – подумал Уинстон с какой-то смутной неприязнью, – главный город Первой летной полосы, третьей по населенности провинции Океании». Он постарался припомнить, обратившись мыслями к детству, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли так же тянулись вдаль вереницы трущоб девятнадцатого века: стены подперты бревнами, окна залатаны картоном, крыши – рифленным железом, а дикие заборы палисадников крелятся во все стороны? И прогалины от бомбежек, где в воздухе кружится известка, а по грудам обломков расползается кипрей; и более обширные пустыри, где бомбы расчистили место для отвратительных скоплений дощатых хибарок, похожих на курятники? Но его старания были тщетны, он не мог вспомнить из детства ничего кроме ярких обрывистых сцен, возникавших без всякого контекста и по большей части невразумительных.

Министерство правды – Миниправ на новоязе ⁷ – разительно отличалось от всего, что его окружало. Это исполинское пирамидальное сооружение, сиявшее белым бетоном, вздымалось терраса за террасой, на триста метров ввысь. Уинстону были видны из окна квартиры три лозунга Партии, выложенные на белом фасаде элегантным шрифтом:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Министерство правды насчитывало, по слухам, три тысячи комнат над поверхностью земли и столько же в «корневой системе». Над Лондоном возвышались еще три сооружения подобного вида и размера. Они так явно доминировали над окружающим ландшафтом, что с крыши жилкомплекса «Победа» было видно сразу все четыре. В них размещались министерства, составлявшие весь правительственный аппарат. Министерство правды занималось новостями, досугом, образованием и изящными искусствами. Министерство мира заведовало войной. Министерство любви поддерживало закон и порядок. А Министерство изобилия решало вопросы экономики. На новоязе они назывались Миниправ, Минимир, Минилюб и Минизоб.

Министерство любви внушало страх. Это было здание без окон. Уинстон обходил его за полкилометра и никогда не был внутри. Туда пускали только по официальному делу, а вход защищало хитросплетение заборов с колючей проволокой, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. Даже улицы, граничившие с Министерством любви, патрулировала гориллоподобная охрана в черной форме, вооруженная складными резиновыми дубинками.

Уинстон решительно отвернулся от окна. Он придал лицу выражение тихого оптимизма, наиболее уместное перед телеэкраном, и прошел через комнату на крохотную кухню. Покинув министерство в обеденный перерыв, он пожертвовал походом в столовую, хотя знал, что дома нет еды, кроме ломтя бурого хлеба, который надо оставить на завтрак. Уинстон снял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «ДЖИН ПОБЕДА». Из горлышка повеяло тошнотворным маслянистым духом, как от китайской рисовой водки. Он налил почти полную чашку, внутренне собрался и выпил залпом, точно лекарство.

Тут же лицо его покраснело, а из глаз потекли слезы. Как будто он глотнул азотной кислоты, а по затылку ему вмазали резиновой дубинкой. В следующий миг, однако, жжение в животе улеглось, и мир показался Уинстону более радостным. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «СИГАРЕТЫ ПОБЕДА» и нечаянно повернул ее вертикально, отчего табак высыпался на пол. Со следующей удалось справиться лучше. Вернувшись в гостиную, Уинстон

⁷ Новояз был официальным языком Океании. Для сведений о его строении и этимологии см. Приложение. (Прим. авт.)

сел за столик слева от телеэкрана. Из выдвижного ящика он достал перьевую ручку, пузырек чернил и толстую тетрадь большого формата с красным корешком и обложкой под мрамор.

Телеэкран в его квартире располагался почему-то в нестандартном месте – не на торцевой стене, откуда было бы видно всю комнату, а на длинной, напротив окна. Сбоку от экрана находилась неглубокая ниша, задуманная, вероятно, для книжных полок, – там и сидел Уинстон. Вжавшись в нишу, он становился недосягаем для телеэкрана, по крайней мере визуально. Его, разумеется, было слышно, но не видно, пока он не менял положения. Отчасти необычная география комнаты и побудила его когда-то к тому, чем он собирался заняться.

Но не в меньшей мере тому способствовала и сама тетрадь, которую он вытащил из ящика. Вид у нее был необычайно красивый. Такой гладкой кремовой бумаги, чуть пожелтевшей от времени, не выпускали уже лет сорок. Уинстон чувствовал тем не менее, что возраст этой тетради намного больше. Он заметил ее в витрине грязноватой лавки старьевщика где-то в районе трущоб (где именно, он уже не помнил) и немедленно загорелся всепоглощающим желанием заполучить ее. Членам Партии не полагалось заходить в обычные магазины (это называлось «отовариваться на свободном рынке»), но правило частенько нарушалось, поскольку некоторые вещи, такие как шнуры и бритвенные лезвия, невозможно было раздобыть иначе. Быстро скользнув взглядом по улице, Уинстон прошмыгнул внутрь лавки и купил тетрадь за два с половиной доллара. Тогда он еще и сам не знал, для чего она может понадобиться. Уинстон принес ее домой в портфеле, обуреваемый чувством вины. Тетрадь, даже чистая, компрометировала владельца.

А собирался он, собственно, вести дневник. Это не было запрещено законом (просто потому, что никаких законов больше не существовало), но если бы тетрадь обнаружили, то Уинстон мог поплатиться жизнью или получить как минимум двадцать пять лет лагерей. Он приладил к ручке перо и облизнул его для верности. Архаической перьевой ручкой мало кто пользовался даже для подписей, и он приобрел ее тайком и не без труда, просто по ощущению, что прекрасная кремовая бумага заслуживает настоящего пера, а не царапанья химическим карандашом. Вообще-то Уинстон не привык писать от руки. Не считая коротеньких записок, он обычно все надиктовывал в речепис, что в данном случае было, разумеется, невозможно. Он обмакнул перо в чернила и помедлил секунду. От волнения у него забурлило в животе. Оставить на бумаге след – это решительный шаг. Он вывел мелким неуклюжим почерком:

4 апреля 1984 года.

И выпрямился. Им овладело ощущение полной беспомощности. Для начала он даже не был уверен, что сейчас действительно 1984-й. Во всяком случае, что-то близкое к нему, поскольку Уинстон почти не сомневался, что ему тридцать девять, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь на любую дату можно было положиться лишь с погрешностью в пару лет.

Он вдруг задумался, для кого вообще собирался писать дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Его разум покружил секунду над сомнительной датой на странице, а затем наткнулся на слово из новояза «двоемыслие». Впервые он осознал, на что замахнулся. Как можно обращаться к будущему? Это по самой своей природе невозможно. Либо будущее станет походило на настоящее, и тогда никто не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона покажутся ему чуждыми.

Какое-то время он сидел, тупо уставившись на бумагу. Телеэкран заиграл бравурную военную музыку. Что за ерунда: казалось, Уинстон не только лишился способности к самовыражению, но и вообще забыл, что намеревался сказать изначально. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему ни разу не пришло на ум, что потребуется нечто большее, нежели храбрость. Вести дневник – дело нехитрое. Нужно только перенести на бумагу неумолкаемый беспокойный монолог, звучащий в голове уже не первый год. Однако же сейчас иссяк и монолог. К тому же нестерпимо зудела варикозная язва. Он не смел почесать ее, потому что от

этого язва всегда воспалялась. Секунды проходили одна за другой. Он не осознавал ничего, кроме пустой страницы перед собой, чесотки над лодыжкой, гавканья военной музыки и легкого хмеля от джина.

Внезапно он принялся строчить, как в бреду, едва понимая, что именно пишет. Его мелкий, по-детски неровный почерк вихлял вверх-вниз по странице, потеряв сперва заглавные буквы, а затем и точки:

4 апреля 1984. Вчера смотрел кинокартины. Все про войну. Одна очень хорошая как бомбили корабль полный беженцев где-то в Средиземном. Публику весьма забавляли кадры с огромным толстяком уплывающим от вертолета, сперва ты видел как он плещется в воде точно рыбина, затем смотрел на него через прицелы вертолета, потом его изрешетили пули и море вокруг стало розовым и он погрузился так резко словно набрал воды через раны, публика кричит и хохочет когда он тонет. потом ты видел лодку полную детей и кружащий над ней вертолет. на носу лодки сидела женщина средних лет возможно еврейка с трехлетним мальчиком на руках. ребенок кричал от страха и прятал голову между ее грудей словно пытался зарыться внутрь а женщина обнимала его и успокаивала хотя сама посинела от страха, все время прикрывала его как могла словно думала защитить руками от пуль. затем вертолет сбросил на них 20 кг бомбу огромная вспышка и лодка разлетелась в щепки. потом был отличный кадр с детской рукой взлетающей выше выше выше прямо в воздух должно быть вертолет снимал ее фронтальной камерой и с партийных мест много аплодировали но женщина снизу из рядов пролов вдруг подняла хай и стала шуметь и кричать что не надо такое показывать не перед детьми им этого нельзя не перед детьми это пока полиция не забрала ее вывела ее не думаю что с ней что-то сделали никому нет дела что говорят пролы типично пролская реакция они никогда...

Уинстон перестал писать отчасти из-за спазма в руке. Он не знал, зачем выплеснул такой поток белиберды. Но интересный факт: пока он писал, у него в уме проявилось совершенно другое воспоминание, и так ясно оформилось, что хоть бери и записывай. Он теперь понял, что это происшествие и побудило его так неожиданно пойти домой и начать дневник именно сегодня.

Оно произошло утром в министерстве, если слово «произошло» вообще применимо к чему-то столь туманному.

Было почти одиннадцать ноль-ноль, и в Отделе документации, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из кабинок и расставляли посередине холла напротив большого экрана, готовясь к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз занимал свое место в одном из средних рядов, когда неожиданно появились два человека – их лица были ему знакомы, но и только. Девушка постоянно встречалась ему в коридорах. Уинстон не знал ее имени, но был в курсе, что она работает в Художественном отделе. Ему случалось видеть ее с гаечным ключом и замасленными руками, так что предположительно девушка работала механиком по обслуживанию одной из романых машин. На вид лет двадцати семи, волосы густые, лицо в веснушках, держалась она заносчиво, а двигалась проворно и по-спортивно. Талию комбинезона перехватывал несколько раз узкий алый кушак, подчеркивая крутые бедра – знак молодежной лиги Антисекс. Уинстон эту девушку сразу невлюбил. И он понимал почему. От нее так и веяло духом хоккейных полей, купаний в ледяной воде, турпоходов и общей незамутненностью сознания. Он в принципе недолюбливал женщин, особенно молодых и хорошеньких. Именно женщины – и прежде всего юные – стали самыми ревностными приверженцами Партии, они жили лозунгами и всегда готовы были шпионить и вынюхивать отступников. Но эта девушка вызывала ощущение особенной опасности. Один раз, разминувшись в коридоре, она искоса взглянула на него, как ножом полоснула, и его вдруг пробрал липкий ужас. Ему даже поду-

малось, что она может служить агентом Мыслеполиции. Хотя, следовало признать, это было маловероятно. И все же всякий раз при встрече он испытывал безотчетное волнение с примесью страха и враждебности.

Вторым из вошедших был О'Брайен, член Внутренней Партии, занимавший настолько высокую и удаленную должность, что Уинстон имел о ней самое смутное представление. Как только люди, расставлявшие стулья, заметили черный комбинезон члена Внутренней Партии, все сразу притихли. О'Брайен был мощным, дородным мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, ему было присуще своеобразное обаяние. Он имел привычку поправлять на носу очки, и этот неожиданно обезоруживающий жест придавал ему, странно сказать, нечто неуловимо интеллигентное. Такая характерная манера могла вызвать ассоциацию (если кто-то еще помнил подобные образы) с дворянином восемнадцатого века, предлагающим свою табакерку. Уинстон видел О'Брайена, пожалуй, с десятков раз за столько же лет. Он испытывал к нему симпатию, и не только из-за волнующего контраста между учтивыми манерами и телосложением боксера. В большей степени это объяснялось тайным убеждением – даже не убеждением, а лишь надеждой, – что политическая правота О'Брайена не была безупречной. Что-то в его лице наводило на подобные мысли. Хотя возможно, что оно выражало не недостаток верности Партии, а просто интеллект. Так или иначе О'Брайен производил впечатление человека, с которым есть о чем поговорить, если бы каким-то образом удалось остаться с ним наедине и перехитрить телеэкран. Уинстон ни разу не пытался проверить свою догадку, да у него и не было такой возможности. Сейчас же О'Брайен взглянул на наручные часы, увидел, что уже почти одиннадцать, и, по всей видимости, решил остаться в Отделе документации до окончания Двухминутки Ненависти. Он сел в том же ряду, что и Уинстон, через пару сидений от него. Между ними расположилась маленькая рыжевато-желтая женщина, которая трудилась в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка села прямо за ним.

Большой телеэкран на торцевой стене издал жуткий скрежещущий рев, словно чудовищная машина вдруг начала работать без смазки. От этого звука ломило зубы и волосы вставали на загривке. Ненависть началась.

На экране, как обычно, возникло лицо Эммануила Голдштейна, Врага Народа. В зрительских рядах зашикали. Рыжевато-желтая женщина взвизгнула от страха и отвращения. Голдштейн был изменником и отступником, который когда-то давным-давно (насколько именно давно, никто толком не помнил) числился в предводителях Партии, чуть ли не наравне с самим Большим Братом, а потом ударился в контрреволюцию, был приговорен к смерти и таинственным образом сбежал, исчез. Программа Двухминутки Ненависти каждый день менялась, но на первый план всегда выходил Голдштейн. Он значился предателем номер один, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, любые измены, вредительства, предательства, уклонения – все это было прямым следствием его учения. Он все еще был жив, скрываясь неведомо где и продолжая плести заговоры: возможно, где-то за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а может быть – ходили и такие слухи, – он затаился на территории самой Океании.

Уинстону сдавило грудь. Всякий раз при виде Голдштейна его обуревали сложные и мучительные чувства. Это было сухое еврейское лицо в венчике пушистых белых волос и с козлиной бородкой – лицо умное и вместе с тем какое-то плюгавое, тронутое старческим маразмом, с очками на кончике длинного тонкого носа. В нем виделось что-то овечье, и сам голос изменника походил на блеянье. Голдштейн, как обычно, подвергал партийные доктрины ядовитым нападкам – столь вздорным и нелепым, что и ребенок мог их раскусить, однако достаточно убедительным для опасений, что кто-то менее здравомыслящий может на них повестись. Он поносил Большого Брата, обличал диктатуру Партии, требовал немедленно заключить мир с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли, он

истерически вопил, что Революцию предали, – и все это стремительной скороговоркой со сложными составными словами, будто пародируя манеру партийных ораторов, включая даже слова новояза, да в таких количествах, что никакому партийцу было за ним не угнаться. В это время, отмечая любые сомнения в реальной подоплеке слов Голдштейна, на заднем фоне бесконечно маршировали колонны евразийской армии: шеренга за шеренгой кряжистых мужчин с бесстрастными азиатскими лицами. Они приближались к поверхности экрана и исчезали, уступая место своим точным копиям. Блеющий голос Голдштейна накладывался на ритмичный топот солдатских сапог.

Не прошло и полминуты Ненависти, а половина зрителей уже не могла сдерживать яростных возгласов. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и ужасающую мощь евразийской армии за ним, хотя и без того одна только мысль о самом Голдштейне вызывала произвольный страх и гнев. Он был куда более привычным объектом ненависти, чем Евразия или Остазия, поскольку, когда Океания воевала с одной из них, то обыкновенно заключала мир с другой. Как ни странно, хотя Голдштейна ненавидели и презирали все подряд и каждый день по тысяче раз за сутки – на трибунах, на телеэкранах, в газетах и книгах, – его теории опровергали, громили, высмеивали, разбирали по кусочкам, доказывая их полнейшую несостоятельность, несмотря на все это, его влияние, казалось, не ослабевало. Всегда находились новые простофили, только и ждавшие идеологического совращения. Не проходило и дня, чтобы Мыслеполиция не разоблачала шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командовал огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, поставивших себе целью свергнуть Режим. Обычно на них ссылались как на Братство. А еще передавали шепотом истории о жуткой книге, собрании всех ересей, которую написал и тайно распространял Голдштейн. Книга не имела названия. В редких разговорах о ней упоминали просто как о книге. Но о таких вещах можно было узнать только по неясным слухам. Никто из рядовых партийцев старался не упоминать ни Братство, ни книгу.

На второй минуте ненависть перешла в истерию. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, стараясь заглушить одуряющий блеющий голос с экрана. Рыжеватая соседка Уинстона покраснела и разевала рот, словно рыба на суше. Даже тяжелое лицо О'Брайена побагровело. Он сидел очень прямо, его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно принимая на себя прибойную волну. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала кричать: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – внезапно схватила тяжелый словарь новояза и запустила в телеэкран. Словарь врезался Голдштейну в нос и отскочил; голос с экрана звучал все так же неумолимо. Уинстон вдруг осознал, что тоже вопит вместе со всеми и яростно лягает ножку стула. Двухминутка Ненависти была ужасна не тем, что ты обязан играть свою роль, напротив, ты просто не мог не поддаться общему настрою. Через полминуты уже не нужно было притворяться. Словно электрический разряд, толпу охватывали страх и гнев, иступленное желание убивать, истязать, крушить лица молотом, и люди против воли делались буйнопомешанными. Однако эта ярость оставалась отвлеченной, неперсонализированной эмоцией, которую можно было переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Так ненависть Уинстона в какой-то миг оказывалась обращенной вовсе не на Голдштейна, а, наоборот, на Большого Брата, на Партию и Мыслеполицию; в такие моменты сердце его тянулось к одинокому очерченному отступнику на экране, признавая в нем единственного поборника правды и здравомыслия в мире лжи. Однако в следующий миг Уинстон был един с людьми вокруг себя, и все, что говорили о Голдштейне, казалось ему правдой. Тогда его тайная неприязнь к Большому Брату сменялась обожанием, и Большой Брат вздымался надо всеми, как скала, превращаясь в неуязвимого, бесстрашного защитника от азиатских орд, а Голдштейн, несмотря на всю свою изоляцию, беспомощность и даже сомнение в самом его существовании, казался каким-то зловещим чародеем, который мог одной лишь силой голоса сокрушить целую цивилизацию.

Иногда можно было даже обратить свою ненависть волевым усилием на конкретный объект. Внезапно, диким усилием, каким отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон сумел перевести ярость с Голдштейна на темноволосую девушку позади себя. У него перед глазами замелькали отчетливые прекрасные галлюцинации. Он забьет ее до смерти резиновой дубинкой. Привяжет голой к столбу и истыкает стрелами, как святого Себастьяна. Овладеет ею и в момент оргазма перережет глотку. С небывалой ясностью он осознал причины своей ненависти. Потому что она была молода и красива и отрицала секс, потому что он хотел переспать с ней и никогда не сможет этого сделать, ведь ее прелестную гибкую талию, так и просившуюся в объятия, обнимал только жуткий алый кушак, агрессивный символ непорочности.

Ненависть достигла апогея. Голос Голдштейна перешел в настоящее овечье блеянье, и на миг его лицо обернулось бараньей мордой, которая плавно перетекла в фигуру евразийского солдата – огромный и ужасный, он наступал на зрителей, грохоча автоматной очередью. Кажется, он сейчас соскочит с экрана, так что некоторые в первом ряду отпрянули подальше. Но тут же раздался всеобщий вздох облегчения, когда враждебная фигура уступила место лицу Большого Брата – черноволосому, черноусому, исполненному могущества и загадочного спокойствия, – да такому огромному, что оно едва умещалось на экране. Никто не мог слышать, что говорил Большой Брат. Скорее всего, лишь несколько ободряющих слов, из тех что произносят в пылу сражения – сами по себе невнятные, они вселяли уверенность уже тем, что были произнесены. Затем лицо Большого Брата вновь поблекло, и на его месте жирным шрифтом возникли три лозунга Партии:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Лицо Большого Брата еще держалось на экране несколько секунд, словно бы его воздействие на человеческий глаз было слишком сильно, чтобы изгладиться сразу. Рыжеватая женщина навалилась на спинку переднего стула, лепеча дрожащим голосом что-то вроде: «Спаситель мой!» – и простерла руки к экрану. После чего спрятала лицо в ладони, вероятно, забормотав молитву.

И тут все собравшиеся принялись ритмично и неторопливо скандировать низкими голосами: «Бэ – Бэ!.. Бэ – Бэ!..» – снова и снова, очень медленно, с долгими интервалами между первым «Бэ» и вторым. В этом тяжелом, монотонном гуле слышалось что-то до странности дикарское, так что невольно представлялся топот босых ног и рокот туземных барабанов. Шум длился с полминуты. Люди нередко прибегали к этому рефрену от избытка чувств. Отчасти они восхваляли мудрость и величие Большого Брата, но в большей степени намеренно вводили себя в транс, одурманивая разум ритмичным повтором. Уинстон почувствовал, как внутри у него холодеет. Двухминутки Ненависти заставляли его поддаваться общему помешательству, но это дикарское скандирование «Бэ – Бэ!.. Бэ – Бэ!» всегда наполняло его ужасом. Разумеется, он повторял вместе со всеми – по-другому никак. Так велел инстинкт: скрывать свои чувства, управлять мимикой, делать все как все. Но на этот раз была пара секунд, когда он мог бы выдать себя выражением глаз. И вот тогда случилось нечто примечательное – если оно и вправду случилось.

В какой-то момент Уинстон поймал взгляд О'Брайена. Тот уже встал. Он снял очки и собирался снова водрузить их на нос своим характерным жестом. Но за долю секунды до этого их глаза встретились, и Уинстон понял – да, понял! – что О'Брайен думал так же, как и он сам. Ошибки быть не могло. Словно их сознания раскрылись и мысли передавались из глаз в глаза.

«Я с вами, – словно бы сказал ему О'Брайен. – Я понимаю ваши чувства. Я знаю все о вашем презрении, ненависти, отвращении. Но не волнуйтесь, я на вашей стороне!»

И тут же этот проблеск разума погас, а лицо О'Брайена стало таким же непроницаемым, как и у остальных.

Вот и все, Уинстон сразу начал сомневаться, произошло ли что-то вообще. Такие инциденты никогда ни к чему не вели. Они только поддерживали в нем убеждение или надежду, что были и другие враги Партии, не только он один. Возможно, что слухи о хитросплетенных подпольных заговорах имели реальную основу – не исключено, что Братство и вправду существовало! Нельзя было сказать с уверенностью, несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, что Братство – не просто миф. Иногда Уинстон верил в него, иногда – нет. Свидетельств не было, только беглые взгляды, которые могли значить что угодно или вовсе ничего, обрывки чужих разговоров, неразборчивые надписи на стенах туалетов – а еще как-то раз он видел, как встретились два незнакомца, и один из них необычно шевельнул рукой, словно подав некий знак. Одни лишь догадки: вполне возможно, все это ему просто привиделось. Он вернулся в свою кабинку, не смея взглянуть на О'Брайена. Уинстон едва ли допускал возможность завязать с ним знакомство. Если бы он даже знал, как это устроить, опасность была слишком велика. Два человека обменялись двусмысленным взглядом, длившимся секунду, может, две – и дело с концом. Но даже это стало заметным событием для человека, вынужденного жить в одиночестве.

Уинстон встрепенулся и сел ровнее. Джин в желудке бунтовал и вызывал отрыжку.

Он снова всмотрелся в страницу. Оказалось, что, пока он беспомощно витал в воспоминаниях, рука продолжала выводить строчки как бы сама по себе. Только почерк уже был не прежний корявый и неуклюжий. Перо размашисто скользило по гладкой бумаге, выводя крупными печатными буквами:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

Раз за разом одно и то же – и вот уже исписано полстраницы.

Уинстона захлестнула паника. Абсурдное ощущение, ведь дневник сам по себе был не менее опасен, чем эти конкретные слова. На миг им овладело желание вырвать исписанные страницы и забросить всю свою затею.

Однако он этого не сделал, поскольку понимал тщетность такого поступка. Не было разницы, написал он или нет «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА». Не было разницы и в том, станет ли он дальше вести дневник или нет. Мыслеполиция все равно его поймает. Он и так уже совершил – даже если бы никогда не касался пером бумаги – абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслефелония – так это называлось. Мыслефелонию невозможно скрывать вечно. Можно изворачиваться до поры до времени, даже годами, но рано или поздно за тобой придут.

Приходили всегда по ночам – в другое время людей не арестовывали. Тебя резко будили, трясли за плечо, светили фонарем в глаза, кровать обступали суровые лица. Почти никогда никого не судили, об арестах не сообщали. Люди просто исчезали – всегда среди ночи. Твое имя удаляли из реестров, любые записи о твоих действиях уничтожали, само твое существование отрицалось и вскоре забывалось. Тебя аннулировали, стирали с лица земли – одним словом, испаряли, как об этом говорили.

Им вдруг овладело что-то вроде истерики. Уинстон принялся спешно писать неряшливым почерком:

*меня застрелят мне плевать меня застрелят сзади в шею мне плевать
долгой большого брата они всегда стреляют сзади в шею мне плевать долой
большого брата...*

Он откинулся на спинку стула, чуть стыдясь себя, и отложил ручку. В следующий миг он нервно вздрогнул. Стучали в дверь.

Уже! Уинстон сидел тихо, как мышка, в тщетной надежде, что кто бы там ни был, он сейчас уйдет. Но нет, стук повторился. Медлить в такой ситуации было хуже всего. Сердце Уинстона бухало, как барабан, но лицо в силу долгой привычки оставалось почти невозмутимым. Он встал и тяжело направился к двери.

II

Взявшись за дверную ручку, Уинстон обратил внимание на раскрытые страницы дневника на столе. «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА» повторялось на них столько раз и такими крупными буквами, что можно было разглядеть надписи через всю комнату. Немыслимая глупость! Несмотря на панику, он понял, что не хочет пачкать кремовую бумагу, захлопывая тетрадь, прежде чем просохнут чернила.

Уинстон вздохнул и открыл дверь. Облегчение теплой волной прокатилось по всему телу. За дверью стояла потрепанного вида женщина, невзрачная, с жидкими всклокоченными волосами и морщинистым лицом.

– Ох, товарищ, – затянула она тоскливым голосом, – я услышала, вы вроде дома. Вы бы не зашли к нам посмотреть раковину на кухне? Она засорилась и...

Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия почему-то не одобряла слово «миссис» – полагалось ко всем обращаться «товарищ», – но некоторых женщин называть иначе язык не поворачивался.) Женщина лет тридцати, но на вид гораздо старше. Казалось, в ее морщинах на лице залегла пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Слесарная самодеятельность стала едва ли не ежедневной морокой. Старый жилкомплекс «Победа» возвели годах в тридцатых – и весь он уже разваливался. С потолка и стен постоянно сыпалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла всякий раз, как выпадал снег, а отопление обычно работало на половинном давлении, если его не отключали совсем из соображений экономии. Если ты не мог починить чего-то сам, то приходилось ждать распоряжений неуловимых комитетов, которые даже с ремонтом оконной рамы могли тянуть по два года.

– Я ведь только потому, что Том не дома, – пробормотала миссис Парсонс.

Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и убожество ее выражалось иначе. Все вещи имели потрепанный, побитый вид, как будто здесь только что побывал крупный злобный зверь. По всему полу валялись спортивные принадлежности – хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, вывернутые наизнанку потные шорты, – а на столе громоздились грязная посуда и замызганные школьные тетради. На стенах алели знамена Молодежной лиги и лиги Разведчиков и висел полноразмерный плакат Большого Брата. Пахло здесь, как и во всем доме, вареной капустой, но привычный запах оттеняла острая вонь едкого пота, которую оставил после себя кто-то отсутствующий в данный момент. Такие подробности по неизвестной причине становились понятны с первого вдоха. В соседней комнате кто-то трещал клочком туалетной бумаги по зубьям расчески, неумело подыгрывая военной музыке, продолжавшей звучать с телеэкрана.

– Это дети, – сказала миссис Парсонс, бросив тревожный взгляд на дверь. – Они сегодня не гуляли. И, конечно...

У нее была привычка обрывать предложения на середине. Раковина на кухне почти до краев заполнилась грязной зеленоватой водой, смердевшей хуже капусты. Уинстон опустил

на колени и осмотрел угловую муфту на сливной трубе. Он терпеть не мог работать руками, терпеть не мог нагибаться – и всегда от этого кашлял. Миссис Парсонс стояла рядом с беспомощным видом.

– Был бы дома Том, он бы вмиг прочистил, – сказала она. – Он любит такими делами заниматься. Мастер на все руки.

Парсонс, как и Уинстон, работал в Министерстве правды. Это был полный, но неугомонный малый, тупой до невозможности сгусток кретинского энтузиазма – один из тех беспрекословных преданных трудяг, на которых Партия опиралась надежнее, чем на Мыслеполицию. Только в тридцать пять он с неохотой оставил ряды Молодежной лиги, а до этого умудрился пробыть в Разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал какую-то незначительную должность, для которой не требовалось особого ума, зато стал ведущей фигурой в Спортивном комитете и в целом ряде других структур для организации турпоходов, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Попыхивая трубкой, он не без гордости сообщал товарищам, что вот уже четыре года, как он не пропустил ни одного вечера в Центре досуга. Его всегда сопровождал одуряющий запах пота, являясь невольным знаком усердной жизнедеятельности и еще долго витая в помещении даже после ухода Парсонса.

– У вас есть гаечный ключ? – спросил Уинстон, тронув гайку на муфте.

– Гаечный, – сказала миссис Парсонс, обмякая на глазах. – Я даже не знаю. Может, дети...

Раздался топот, очередная трель расчески – и в комнату вкатились дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Он, как мог, отмыл пальцы под холодной водой и вернулся в другую комнату.

– Руки вверх! – рявкнул свирепый голос.

Из-за стола вынырнул симпатичный крепыш лет девяти, наставляя на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестренка, младше года на два, направила на Уинстона деревяшку. Оба были одеты в форму Разведчиков: синие шорты, серые рубашки, красные галстуки. Уинстон с беспокойством поднял руки над головой – мальчик держался так злобно, что это не было похоже на игру.

– Ты предатель! – завопил он. – Мыслефелон! Ты евразийский шпион! Я тебя застрелю, испарю, я тебя отправлю в соляные шахты!

И они оба принялись скакать вокруг Уинстона, вереща «Предатель!» и «Мыслефелон!» – девочка повторяла каждое движение за братом. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах мальчика виднелась какая-то свирепая расчетливость, почти неодолимое желание ударить Уинстона и понимание того, что очень скоро это будет ему по силам. Уинстон подумал, как ему повезло, что у мальчика не настоящий пистолет.

Взгляд миссис Парсонс нервозно перебегал между гостем и детьми. В гостиной было светлее, и он с интересом отметил, что в морщинах на ее лице действительно засела пыль.

– Они что-то расшумелись, – сказала она. – Не понравилось, что их не возьмут на повешение, вот почему. Мне с ними некогда, а Том к тому времени еще не вернется с работы.

– Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? – возмущенно завопил мальчик.

– Хочу смотреть, как вешают! Хочу смотреть, как вешают! – заголосила девочка, продолжая скакать.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут публично вешать евразийских военных преступников. Такое зрелищное мероприятие устраивали примерно раз в месяц. Дети вечно просились со взрослыми. Он вышел от миссис Парсонс и направился к себе, но не прошел по коридору и шести шагов, как что-то больно ужалило его сзади в шею. Словно воткнули обрывок раскаленной проволоки. Уинстон резко обернулся и увидел, как миссис Парсонс затаскивает в дверь сына, прячущего в карман рогатку.

– Голдштейн! – заорал мальчик, исчезая за дверью.

Больше всего Уинстона изумило выражение беспомощного страха на сером лице матери.

Вернувшись к себе, он быстро прошел мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка уже не играла. Теперь отрывистый военный голос, кровожадно смакуя подробности, зачитывал описание вооружений новой Плавучей крепости, только что вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

Уинстон подумал, что с такими детьми эта несчастная женщина живет в постоянном страхе. Еще год-другой, и они начнут следить за ней днем и ночью, норовя уличить хоть в чем-нибудь. Теперь почти все дети ужасны. Хуже всего, что с помощью таких организаций, как Разведчики, их методично превращают в необузданных маленьких дикарей, но у них не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Напротив, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, парады, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, громкие лозунги, восхваление Большого Брата – все это им представляется захватывающей игрой. Их натравливают на чужаков, на врагов Режима, на иностранцев, предателей, вредителей, мыслителей. Для людей старше тридцати стало в порядке вещей бояться собственных детей. И не без причины, ведь почти каждую неделю «Таймс» публикует заметки, как очередной мелкий ябедник – «маленький герой», как их обычно называют, – грел дома уши и донес на родителей в Мыслеполицию, услышав подозрительные высказывания.

Боль в шее уже утихла. Уинстон взял ручку со смешанными чувствами, не зная, стоит ли занести в дневник что-то еще. Ему на ум вдруг снова пришел О'Брайен.

Несколько лет назад (сколько же именно – лет семь, пожалуй?) Уинстону приснилось, что он идет по комнате в кромешной тьме. И кто-то, сидевший чуть в стороне, говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Это было сказано совсем тихо, почти между делом – замечание, а не приказ. Уинстон пошел дальше, не остановившись. Как ни странно, во сне он не придавал значения этим словам. Только со временем, постепенно они стали обретать смысл. Он не мог теперь припомнить, увидел ли этот сон до или после знакомства с О'Брайеном, как не мог припомнить и когда он впервые решил, что слышал во сне именно его голос. Так или иначе голос он этот опознал. В темноте к нему обращался О'Брайен.

Уинстон никак не мог уяснить – даже после утреннего обмена взглядами, – друг или враг ему О'Брайен. Хотя это как будто было не так уж и важно. Между ними промелькнуло понимание, значившее больше, чем взаимное расположение или заговорщицкий дух.

«Мы встретимся там, где нет темноты» – так он сказал.

Уинстон не понимал, что это значит, – знал только, что слова из сна так или иначе сбываются.

Голос с телеэкрана прервался. В душном воздухе комнаты раздался звук фанфар, чистый и прекрасный. Голос проговорил со скрежетом: «Внимание! Прошу внимания! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. Я уполномочен заявить, что настоящее событие вполне может приблизить завершение войны в обозримом будущем. Передаю сводку новостей...»

Уинстон подумал, что надо ждать плохих известий. И действительно: за кровавым описанием разгрома евразийской армии с колоссальными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление, что со следующей недели норма шоколадного рациона сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон снова рыгнул. Джин почти выветрился, оставляя после себя чувство подавленности. Телеэкран разразился песней «Во славу твою, Океания» – то ли в честь победы, то ли чтобы отвлечь людей от сокращения шоколадного пайка. Полагалось встать по стойке «смирно», но Уинстон находился вне зоны видимости телеэкрана.

«Во славу твою, Океания» сменилась легкой музыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. День был все такой же холодный и ясный. Где-то вдалеке с глухим рас-

катистым грохотом взорвалась ракета. На Лондон их сбрасывали от двадцати до тридцати в неделю.

На улице ветер продолжал трепать оторванный угол плаката, то открывая, то скрывая слово «АНГСОЦ». Ангсоц. Священные устои Ангсоца.

Новояз, двоемыслие, пластичность прошлого. Уинстон почувствовал себя так, будто бредет по морскому дну через лес водорослей, затерявшись в монструозном мире, где и сам он – монстр. Он был один. Прошлое – мертво, будущее – невообразимо. Как он мог быть уверен, что на его стороне хоть одно человеческое существо из ныне живущих? И разве можно знать, что владычество Партии не будет вечным? Вместо ответа он прочитал три лозунга на белом фасаде Министерства правды:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней значились те же три лозунга, набранные аккуратным мелким шрифтом, а на обратной стороне – лицо Большого Брата. Даже с монеты за тобой наблюдали эти глаза. Они были везде: на монетах, марках, книжных обложках, на знаменах и плакатах, на сигаретных пачках. Ты всегда чувствовал на себе взгляд и слышал вкрадчивый голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванной и в постели – никуда от этого не деться. Не оставалось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри черепной коробки.

Солнце ушло, и мириады окон Министерства правды перестали отражать его свет, потемнев, как бойницы крепости. Сердце Уинстона сжалось при виде исполинской пирамиды. Она слишком прочна, ее не взять штурмом. И тысяча ракет не сможет сровнять ее с землей. Он снова задумался, ради кого пишет дневник. Ради будущего, ради прошлого – ради века, может, лишь воображаемого. Перед ним же маячила не смерть, но бесследное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а сам он просто испарится. Его слова прочтет только Мыслеполияция, прежде чем стереть их с лица земли и из истории. Как можно обращаться к будущему, когда от тебя не останется никакого следа в этом мире, даже анонимных слов, нацарапанных на клочке бумаги?

Телеэкран пробил четырнадцать часов. До выхода десять минут. Он должен вернуться на работу к четырнадцати тридцати.

Бой часов, как ни странно, вернул ему присутствие духа. Уинстон был одиноким призраком, изрекавшим правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он ее изрекает, связь времен таинственным образом продолжается. Ты несешь в себе человеческое начало не тогда, когда тебя слушают, а когда ты сохраняешь ясное сознание. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал:

Будущему или прошлому, времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночку, – времени, когда существует правда, и что сделано, то сделано:

Из века одинаковых, из века одиночек, из века Большого Брата, из века двоемыслия – приветствую тебя!

Он подумал, что уже мертв. Ему показалось, что только сейчас, когда он обрел способность формулировать мысли, он пересек черту. Последствия любого действия заключены в самом этом действии. Он написал:

Мыслефелония не влечет за собой смерть: мыслефелония ЕСТЬ смерть.

Теперь, когда он признал в себе мертвеца, стало важным оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки запачкались чернилами. Как раз такая деталь и может выдать. Какой-нибудь остроносый ревнитель в министерстве (скорее всего, женщина: хотя бы та

маленькая, рыжеватая или темноволосая из Художественного отдела) мог задуматься, почему Уинстон писал в обеденный перерыв, почему писал старомодной ручкой, что он писал, – и обмолвиться об этом в нужном месте. Уинстон пошел в ванную и тщательно отмыл чернила зернистым бурым мылом, которое терло кожу, как наждачная бумага, и потому хорошо подходило для такой задачи.

Дневник он убрал в ящик. Пытаться как-то спрятать его было бессмысленно, но он мог хотя бы принять меры, чтобы заметить, если тетрадь обнаружат. Волос на краю страницы был бы слишком очевиден. Он подобрал кончиком пальца едва заметную белесую пылинку и поместил на угол обложки, где она будет покоиться, пока дневник кто-нибудь не возьмет в руки.

III

Уинстону снилась мать.

Она исчезла, насколько он знал, когда ему было лет десять-одиннадцать. Мать была высокой, величавой женщиной с роскошными светлыми волосами, довольно молчаливой, медленной в движениях. Отца он припоминал менее отчетливо – темноволосый худощавый человек, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону особенно запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Должно быть, их обоих проглотила система во время одной из первых больших чисток пятидесятых.

Во сне мать сидела где-то в глубине гораздо ниже него, держа на руках его младшую сестренку. Сестренку он почти не помнил – она была крохотным хилым младенцем, тихим и с большими внимательными глазами. Обе они смотрели снизу на Уинстона. Они находились в какой-то подземной норе – вроде дна колодца или очень глубокой могилы, – и эта нора, и без того глубокая, продолжала расти вниз. Они словно сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на него сквозь темнеющую воду. В салоне еще оставался воздух, и они еще могли видеть его, а он – их, но они продолжали погружаться все глубже и глубже в зеленую воду – и в следующий миг вода скрыла их навсегда. Он стоял на свету и на воздухе, а их затягивала смерть, и они были там, внизу, потому что он был здесь, наверху. Он это знал, и они это знали, и это знание он видел на их лицах. Но ни на лицах, ни в сердцах у них не было упрека – только осознание того, что они должны были умереть, чтобы он мог дальше жить, потому что таков неизбежный порядок вещей.

Он не мог вспомнить, что же с ними случилось, но понял во сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры принесли в жертву ради него. Это был один из тех снов, когда за внешней причудливостью продолжается обычный мыслительный процесс и возникает понимание событий и идей, сохраняющее новизну и значимость после пробуждения. Уинстона вдруг осенило, что смерть его матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в значении, теперь уже немыслимом. Ему открылось, что трагедия – это достояние былых времен, когда существовала частная жизнь, любовь и дружба, а родные люди стояли друг за друга без лишних вопросов. Воспоминание о матери разрывало ему сердце потому, что она умерла с любовью к нему, а он был еще слишком юн и эгоистичен, чтобы ответить тем же, а еще она каким-то образом – каким именно, он не помнил, – принесла себя в жертву личной и нескрушимой идее верности. Он осознал, что сегодня такое уже невозможно. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет ни уважения к чувствам, ни глубокого и сложного горя. Все это он словно бы увидел в больших глазах матери и сестры, смотревших на него сквозь зеленую воду снизу, с глубины в сотни саженей, и продолжавших погружаться.

Неожиданно он очутился на короткой упругой траве летним вечером, когда косые лучи солнца золотят землю. Простиравшаяся перед ним местность так часто ему снилась, что он не мог быть уверенным, видел он ее когда-то наяву или нет. Мысленно он называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, с протоптанной тропинкой и кочками

кротовых нор. По дальнему краю луга неровной стеной тянулись вязы, легкий ветер едва шевелил их кроны, и густая листва колыбалась, словно женские волосы. А где-то неподалеку, вне зоны видимости, лениво журчал чистый ручей, и плотва плескалась в заводях под ивами.

Через луг шла девушка с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя всю одежду и небрежно отбросила в сторону. Тело у нее было белым и атласным, но не пробудило в нем желания – он едва взглянул на него. Что захватило его в тот миг, так это сам жест, которым она отбросила одежду. Такая изящная беспечность словно перечеркнула целую цивилизацию и мировоззрение, как будто и Большого Брата, и Партию, и Мыслеполицию ниспровергли одним великолепным взмахом руки. Этот жест также был достоянием былого. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на губах.

Телеэкран издавал раздирающий уши свист, державшийся тридцать секунд на одной ноте. На часах 07.15 – время подъема для конторских служащих. Уинстон выдернул себя из постели – нагишом, поскольку член внешней партии получал всего три тысячи купонов на одежду в год, а пижамный костюм стоил шестьсот – и схватил со стула поношенную майку и шорты. До физзарядки оставалось три минуты. И тут его согнул жестокий приступ кашля, как почти всегда после пробуждения. Кашель норовил вывернуть легкие наизнанку, так что Уинстон повалился на спину и начал отчаянно ловить ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Жилы у него вздулись от натуги, а варикозная язва зачесалась.

– Группа от тридцати до сорока! – пролаял пронзительный женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Примите, пожалуйста, исходное положение. От тридцати до сорока!

Уинстон встал по стойке «смирно» перед телеэкраном, на котором уже возникла молодая женщина: худощавая, но мускулистая, в тунике и спортивных туфлях.

– Сгибание рук и потягивание! – отчеканила она. – Считайте за мной. И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Ну-ка, товарищи, поживее! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!..

Жестокий приступ кашля едва не вытеснил из сознания Уинстона ощущения от сновидения, но ритмичные движения зарядки помогли их восстановить. Механически выбрасывая руки взад-вперед и удерживая на лице выражение сурового удовлетворения, какое полагалось на физзарядке, он старался прорваться к смутным воспоминаниям раннего детства. Неимоверно трудная задача. Время до конца пятидесятых терялось в тумане. Когда не можешь обратиться к внешним ориентирам, размываются даже события собственной жизни. Ты вспоминаешь крупные происшествя, которых, вполне возможно, и вовсе не было, вспоминаешь мелкую подробность какого-то отдельного случая, но не можешь восстановить общую атмосферу, а еще есть долгие периоды пустоты, о которых ты не помнишь ничего вовсе. Все тогда было другим. Даже названия стран и их очертания на карте. Первая летная полоса, к примеру, называлась тогда по-другому – Англия или Британия, а вот Лондон (Уинстон в этом почти не сомневался) всегда был Лондоном.

Уинстон не мог с уверенностью припомнить время, когда бы его страна не воевала. Кажется, на его детские годы пришелся длительный мирный период, поскольку одно из ранних воспоминаний было связано с авианалетом, очевидно, заставшим всех врасплох. Возможно, как раз тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет стерся из памяти, но он помнил, как отец крепко держал его за руку, пока они спешно спускались все ниже и ниже в какое-то подземное убежище, кружа по винтовой лестнице, звеневшей под ногами. В итоге он так вымотался, что начал хныкать, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать тоже спускалась, но заметно отстала, двигаясь в своей медлительной манере, словно во сне. Она несла его сестренку, а может, то был просто сверток покрывал – он не помнил точно, родилась ли уже сестренка. Наконец они вошли в шумное, многолюдное помещение, и он понял, что это станция метро.

Люди сидели по всей площади каменного пола и теснились на металлических нарах. Уинстон с родителями устроились на полу, а рядом на нарах сидели старик со старухой. Седой как лунь старик был одет в приличный темный костюм и черную матерчатую кепку, сдвинутую на затылок; лицо у него отливало густо-красным, а в голубых глазах стояли слезы. От него несло джином. Казалось, джин сочится из всех его пор, точно пот, и слезы его – тоже чистый джин. Несмотря на легкий хмель, старик терзался от горя, глубокого и нестерпимого. Уинстон понял своим детским умом, что случилось что-то ужасное, что-то такое, чего нельзя ни простить, ни исправить. Ему даже показалось, что он знает, в чем дело. У старика убили кого-то, кого он любил, – может, маленькую внучку. Старик ежеминутно повторял:

– Не надо нам было им доверять. Говорил же я, мать, говорил? Вот что бывает, когда доверяешь им. Я это всегда говорил. Не надо было доверять этим скотам.

Но что это были за скоты, которым нельзя доверять, Уинстон вспомнить не мог.

Примерно с тех пор война практически не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не одна и та же война. Несколько месяцев в его детстве шли беспорядочные бои на улицах Лондона, и кое-что из этого Уинстон отчетливо помнил. Но проследить историю тех лет и установить, кто с кем сражался в тот или иной период, было совершенно невозможно. Никакие письменные свидетельства, равно как и устные, не упоминали ни о какой иной расстановке сил, кроме сегодняшней. Сегодня, к примеру, в 1984 году (если сегодня 1984-й), Океания воевала с Евразией, будучи в союзе с Остазией. Ни в официальных, ни в частных заявлениях никто не признавал, что отношения этих трех сил когда-то могли быть другими. Но Уинстон хорошо помнил, что еще четыре года назад Океания воевала с Остазией, будучи в союзе с Евразией. Память его была источником субъективным, на который он мог полагаться, лишь постольку-поскольку его сознание не вполне подчинялось системе. Официально расстановка сил никогда не менялась. Океания ведет войну с Евразией, стало быть, Океания всегда вела войну с Евразией. Враг текущего момента всегда является абсолютным злом, из чего следует, что никакое соглашение с ним – ни в прошлом, ни в будущем – невозможно.

Страшнее всего, думал он в стотысячный раз, отводя плечи назад до ломоты (они вращали корпусом, держа руки на бедрах – это считалось полезным для мышц спины), страшнее всего, что все это может быть правдой. Если Партии под силу запустить руку в прошлое и заявить о том или ином событии, что его никогда не было, – разве это не страшнее любых пыток или смерти?

Партия утверждала, что Океания никогда не была в союзе с Евразией. Он же, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией как минимум четыре года назад. Но чем это знание подкреплялось? Только его личным сознанием, которое в любом случае скоро уничтожат. Если все примут за правду партийную ложь, если все официальные источники будут рассказывать одну и ту же сказку – тогда ложь войдет в историю и станет правдой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.